

**Колокольчик. 1989 г.****1**

На роковом для многих, тридцать седьмом году жизни Вагин впервые за десять лет брака изменил жене, сам же ей в этом признался по инфантильной привычке ничего от нее не скрывать, всю зиму бы на грани развода, но из семьи не ушел, и весной, искупая вину, при активном финансовом содействии тещи, которую жена держала в курсе событий, купил дом в пригородном селе Черновское, чтобы восьмилетняя Нинка могла целое лето проводить на воздухе. Впрочем, Нинка с ее бесценным здоровьем составляла лишь самый верхний пласт в многослойной толще соображений, лежавших в основе этой акции. После всего случившегося им с женой необходимо было обновить отношения, сменить обстановку. Дом еще не был куплен, а они уже говорили о нем как о месте, где в тишине, в покое, под сенью березовых перелесков на берегах относительно чистого водохранилища оба сумеют залезть свои раны и, может быть, увидят друг друга в ином, неожиданном свете, возвращающем их во времена юности, нежности, взаимного умиления. Спали они пока врозь, но для дома в Черновском жена приобрела комплект нового постельного белья в цветочках. Эту свою покупку она, правда, не слишком афишировала, чтобы не спугнуть Вагина самонадеянной уверенностью в неизбежном счастливом исходе. Если же копнуть еще глубже, там жена с тещей рассчитывали хозяйственными заботами отвлечь его от опасных мыслей и разлагающих томлений, а сам он, отчасти надеясь, что так и случится, в то же время втайне надеялся иногда приезжать в Черновское с Таней, хотя за месяц перед тем они твердо решили больше не встречаться, и даже не звонить друг другу. Таня настояла, а Вагин как бы смирился, но в глубине души прекрасно знал, что все зависит от него. Как он захочет, так и будет.

Жена быстро поверила в его раскаяние, в его искреннее и глубокое осознание совершенной ошибки, исправить которую окончательно и прямо сейчас ему мешает лишь самолюбие. Теща, мудрая женщина, не пыталась ее разубедить, но не исключала, видимо, что зять связывает с этим домом определенные планы, и его рано отпускать туда одного. Уже в конце мая она с Нинкой перебралась в Черновское, а дочь предусмотрительно оставила в городе приглядывать за Вагиным. Тем не менее, он под разными предлогами ухитрялся ездить на дачу отдельно от жены, не в выход-

ные, а на неделе, когда та работала. Приезжая, он под руководством тещи весь день что-то приколачивал, вскапывал, закапывал, строил новый сортир, но вечером, уложив Нинку, спускался к водохранилищу, курил на берегу, думал о Тане, о том, что без нее оставшаяся часть жизни будет уже не жизнью, а доживанием. Он ей не звонил, и она за все это время не позвонила ни разу.

В середине июня у него выдалось три свободных дня подряд. Он уехал в Черновское, заночевал там, а утром прискакала Нинка, ранняя пташка, начала его теревить, стаскивать одеяло, требуя, чтобы он немедленно вставал и куда-то с ней шел, она ему что-то покажет.

— Ну пап! Ну вставай! — ныла она. — Скоро их поведут!

Вагин сонно отмахивался:

— Кого? Куда?

Она сказала с раздражением:

— Ну интернатских же, которые под себя писаются. Я тебе еще вчера говорила. Забыл?

Он забыл, но встревожился, глядя, как она аж подпрыгивает от нетерпения.

— Идем, пап! Опоздаем же!

Интернат при местной школе-восьмилетке находился рядом с автобусной остановкой. Всякий раз, проходя мимо, вдыхая запах щей из кислой капусты и еще чего-то казенного, казарменного, Вагин испытывал мгновенный стыд при мысли, что за два квартала отсюда нахальная Нинка, раскармливаемая тещей, уплетает постную говяжью тушенку и в один присест может опростать полбанки стуженного молока. Он хорошо помнил, как в детстве на его глазах откровенная барачная нищета, которую все воспринимали как должное, сменилась потаенной, почти пристойной или, напротив, горластой, бьющей себя в грудь, так что в обоих случаях Вагин имел право ее не замечать. Здесь же, в часе езды от областного центра, она то ли никогда не исчезала, то ли вдруг с пугающей легкостью вернулась к прежнему облику. Убогость этого мира внутри школьной ограды была разветвленной, сложной и естественной. За ней стояла традиция, уходящая вглубь десятилетий.

Школа носила имя известного в свое время поэта Каминского, чья жизнь была прочно связана с Черновским. Потомственный горожанин, он любил эти места, еще в тридцатых годах построил здесь дом и анахоретом прожил в нем последнюю треть жизни. Теперь дом был превращен в музей. На туристических картах Черновское отмечалось кружочком с впи-

санним в него треугольником, обозначающим памятники культуры. Студентом Вагин писал о Каминском дипломную работу, и когда теща объявила, что присмотрела дачу не где-нибудь, а в Черновском, у него неприятно сжалось сердце. Случайность, да, но если судьба гонит по кругу, значит, ничего неожиданного в жизни уже не будет. После разлуки с Таней он стал особенно внимателен к таким совпадениям. Всюду мерещились намеки на то, что круг замкнулся, пошло по второму разу.

Они с Нинкой остановились у штакетника, идти во двор Вагин не захотел. Недавно начались каникулы, но детей еще не развезли по деревням. При интернате для них организовано было что-то вроде трудового лагеря. Они убирали территорию, работали на участке, возили и кололи дрова на зиму. Вечерами ребята постарше околачивались возле клуба, помладше — на пристани. Сейчас все собрались во дворе, строились по группам. Передние, самые маленькие, уже топтались вдоль наведенных известью линеек. В их стремлении встать так, чтобы носы кроссовок, тапочек и туфелек ни в коем случае не вылезали на белую полосу и не отступали бы чересчур далеко от нее, в молчаливом этом и мелочно-кропотливом выравнивании жиденьких шеренг, призванных противостоять бесформенному ужасу жизни, клубящемуся по обе стороны утреннего построения, тоже было что-то давно забытое, но родное, чего Таня в ее возрасте не знала и знать не могла. Несколько девочек с формами хихикали на скамейке, их сверстники покуривали за углом, но и они энергично прибились к остальным, едва на крыльце показался директор интерната, мужчина лет пятидесяти с темным от деревенского загара костлявым лицом, в белой рубашке навыпуск. Вслед за ним вышел мальчик с барабаном и скромно встал в стороне.

— Смотри, сейчас поведут! — шепнула Нинка.

По дороге она ничего толком не объяснила, не желая предвосхищать события и портить впечатление. Жена тоже всегда проявляла удивительное, поражавшее Вагина терпение, если хотела осчастливить его каким-нибудь сюрпризом. Сам он был на это совершенно не способен. Даже подарки, купленные ей ко дню рождения, дарил в тот же вечер, когда приносил их из магазина.

Дождавшись тишины, директор заговорил бодрым и вместе с тем подчеркнуто негромким голосом. Вагин уловил знакомые, но немного, пожалуй, по нынешним временам архаичные интонации начальственной доверительности: дескать, все мы, тут собравшиеся, взрослые и дети, руководство и подчиненные, выполняем одну задачу. Мы — соратники, нам нужно

держаться заодно и стоять крепко, а засадный полк не подведет, озерный лед вот-вот проломится под закованными в железо тевтонами. Содержание речи не имело ровно никакого значения. Оно полностью исчерпывалось веерообразным движением загорелой руки, объемлющим дальних и ближних, сильных и сирых, самого директора и двух стоявших поодаль воспитательниц, небо над их головами, землю внизу, шум тополей, стайку воробьев на турнике — всё в пределах облупленного штакетника.

Наконец рука взмыла вверх, в тот же момент барабанщик, приосанившись, пустил длинную профессиональную дробь. Директор посторонился, пропуская вытянувшуюся из дверей интерната странную процессию — двое мальчиков и девочка с мазками зеленки на лице, на годик, может быть, постарше Нинки. Они, вероятно, стояли в сенях, ожидая сигнала. Застучал барабан, и вышли гуськом, девочка — сзади. Все трое тащили полосатые постельные матрасы, скатанные, но не перевязанные. Один из мальчиков пристроил свою ношу на голове, другой нес перед грудью, обхватив обеими руками, а девочка никак не могла приспособиться. Ей не хватало рук, чтобы обнять этот исполинский ствол с уходящей под облака невидимой кроной. Тяжелый матрас выскальзывал, разворачивался; она то и дело перехватывала его, помогая себе коленкой, останавливалась и отставала. Колени у нее тоже были в пятнах зеленки.

Нинка, стоя рядом, с удовольствием объясняла детали:

— Видишь, пап, они к сушилке идут, у них там сушилка. Видишь?

Вагин тупо взглянул туда, куда она указала. В дальнем конце двора маячил беленый сарайчик под плоской крышей, сакля с длинным жестяным перископом, рассекающим взбитую ветром пену акаций. Лишь теперь он уяснил смысл этой церемонии. Несчастные дети ночью обмочились и в наказание перед строем товарищей должны нести на просушку свои мокрые матрасы. Они были ветхие, линялые, в ржавчине от кроватных сеток.

Для мальчиков, похоже, вся процедура давно стала обычным делом. Передний вышагивал равнодушно, второй улыбался и корчил рожи, но девочка то ли не сумела привыкнуть и смириться, то ли сегодня с ней это случилось впервые в жизни. Она прятала лицо в матрас, шатаясь под его тяжестью, ничего не видя перед собой. Летевшая вдогонку барабанная дробь подгоняла ее, больно лупила по спине, по голым ногам. Вагин почувствовал, что дорога от крыльца до сушилки кажется ей бесконечной. Он схватил Нинку за плечо, встряхнул:

— Ты как смеешь смотреть на такие вещи? Дрянь!

— Ты чего, пап? — изумилась она, прежде чем зареветь.

Он поддал ей по шее.

— Марш отсюда, паршивка! Чтоб духу твоего здесь не было.

Нинка завыла и покатилась в сторону дома. Директор куда-то пропал, барабан умолк. Вагин перемахнул через ограду и бросился к сарайчику. Мальчики уже разложили на солнце свои матрасы, а девочка не могла найти подходящего места. Он поднял ее матрас, отшвырнул. Слабый запах мочи витал в воздухе, еле ощутимый, невинный, напоминающий о Нинкином младенчестве, о времени, когда у жены была большая красивая грудь.

Девочка потрясенно застыла под его взглядом. Вагин присел перед ней на корточки, попробовал улыбнуться прыгающими губами.

— Ты не бойся, — уговаривал он, — не бойся, слышишь? Ерунда, это в детстве со всеми бывает, со мной тоже бывало, и ничего. Не веришь? Зачем мне врать, я уже лысый.

Вагин весело похлопал себя по лысеющей макушке, повторяя, что с ним самим, когда он был в ее возрасте и даже старше, это бывало много раз, честное слово. Девочка по-зверушечьи шмыгнула прочь, тогда, грозно выпрямившись во весь рост, он заорал ей вслед:

— Не смей больше так ходить! Никогда!

Вокруг собралась толпа, откуда-то сбоку донеслось вызывающе отчетливое:

— Зассанец!

Вагин стоял на нетвердых ногах, чувствуя, что не в силах унять в себе этот рвущийся из горла крик. Он видел перед собой ухмыляющиеся физиономии, но продолжал вопить, как на митинге:

— Как вам не стыдно! Это же ваши товарищи!

Подошел директор. При виде его Вагин зашелся совсем уж по-базарному, как вдруг увидел за оградой Нинку, смотревшую на него с нескрываемым ужасом, и опомнился. Не хватало еще, чтобы думала, будто у нее отец припадочный.

— Кто дал вам право издеваться над детьми? — спросил он почти кротко. — За что вы их наказываете? За болезнь?

— Никто их не наказывает, — спокойно ответил директор.

— Ах так? Как же это называется — то, что вы с ними делаете?

— Мы их лечим.

Вагин опять сорвался в истерику:

— А-а, лечите?!...

Переждав, директор подтвердил: да, лечение психическим шоком, такой метод. Шокотерапия — единственное, что в данных обстоятельствах способно им помочь, а колокольчик на ночь к ноге привязывать, это всё пустой номер.

Он взял Вагина под локоть и повел к воротам, на ходу рассказывая, почему не помогает колокольчик, который, по идее, должен разбудить ребенка, когда при позыве тот начнет ворочаться во сне, своим звоном напомнить ему, что нужно проснуться, встать и пойти в туалет. Вагин слушал оцепенело, не вникая. Представилось, как Нинка лежит в постели с этим подвязанным к лодыжке рыбацким бубенчиком, как обмирает, боясь шевельнуться, чтобы не зазвякал и не услышали на соседних койках. Пока тянулись отношения с Таней, и мелькала мысль о разводе, дочь казалась уже совсем взрослой, не нуждающейся в его заботах. Теперь она опять стала маленькой, глупой, беззащитной.

— Жестоко, да, — говорил директор, — но многим помогает. А то ведь сами же ребята житья не дают таким детям, особенно девочки. В матрасах какая-то синтетическая гадость, один обмочится, и во всей палате разит, как в помойке. Они, бедные, на все готовы, лишь бы утром от их постели не воняло. Эта девочка, например, сегодня ночью проснулась, видит, что обмочилась, матрас потихоньку в коридор выволокла, под лестницу его, с глаз долой, простыню прямо на голую сетку постелила и легла. Разве так лучше? В спальнях помещениях дует из всех щелей, печи плохие, зимой дети простужаются, если спят на мокром, а денег на ремонт нет, материалов нет. Прихожу вчера в контору, прошу цемент. Говорят, цемента нет, бери, что есть, и выписывают мне скрепки для обуви. Хоть в стену вколачивай и вешайся на них.

— Дождетесь, кто-нибудь еще повесится от такого лечения, — посулил Вагин.

Директор обиделся:

— Да меня этой весной опять егерем в заповедник звали! Мотоцикл казенный, независимость. Не как здесь: ходишь с протянутой рукой, над куском мела трясешься. Каждый год зовут, а я не иду.

— Чего ж не идете?

— Детей жалко, без меня им хуже будет.

— Хуже не будет, — сказал Вагин и, не прощаясь, пошел домой.

Нинка с каменным лицом уже сидела на веранде, трескала яичницу. Теща гладила ее по волосам, одновременно с обычной своей дипломатичностью давая понять Вагину, что она полностью на его стороне.

Настроение испортилось, он без аппетита позавтракал, взял лопату и направился в огород. По пути его перехватил сосед, тоже дачник, пожилой электрик с пушечного завода. Разговаривать с ним не хотелось. Вечерами тот штудировал недавно переизданного Карамзина вперемешку с журналом "Огонек" и все время норовил уличить Вагина в незнании каких-то исторических фактов. Под тем предлогом, что нужно решить судьбу черемухи, которая росла на границе их участков и будто бы затеняла светолюбивые картофельные побеги, сосед выманил его из калитки, заманил к себе во двор и тут неуловимо-шегольским жестом фокусника соткал из воздуха ополовиненную бутылку и складной стаканчик. Против обыкновения Вагин отказываться не стал. Выпили, сосед начал пытаться его, знает ли он, отчего умерли Александр Невский, Иван Грозный, Сталин, Косыгин, Андропов и генерал Скобелев.

— Ну? — спросил Вагин.

— Их всех отравили, — сообщил сосед и приступил к подробностям.

Внимая, Вагин вспомнил, как в день похорон Андропова жена возвращалась из командировки, он встречал ее на перроне, и когда гроб опускали в землю под кремлевской стеной, внезапно все тепловозы, электровозы, вокзальные сирены испустили трехминутный траурный вой, уже через минуту обернувшийся абсолютной тишиной, потому что в нем потонули все остальные звуки. Казалось, от титанического усилия ревет кто-то громадный, неведомый, ценой рвущихся вен и лопнувших сухожилий поднимающий на себе небеса, раздвигающий горизонты. Вагин слушал со страхом и восторгом, замирая от предчувствий, но за все последующие годы с ним лично случилось только то, что встретил Таню. Под пение соловья в ветвях той самой черемухи, под рассказ о боярах-отравителях, о Борисе Годунове, который как брюнет был человек хитрый, на фоне июньского неба и тополиной метели перед Вагиным опять встал роковой вопрос: звонить Тане или не звонить? Он подумал, что на тот случай, если как-нибудь привезет ее в Черновское, и она попадет на глаза соседу, надо поддерживать с ним хорошие отношения, чтобы не донес теще или жене. Из этих соображений он дослушал мартиролог до конца, до Андропова, по мере необходимости подавая сочувственные или осуждающие реплики.

— Теперь будете знать, — удовлетворенно сказал сосед, отпуская его к Нинке.

Та давно ныла за забором, что хочет купаться. То, что произошло два часа назад, для нее было все равно как в прошлом году. Вагин прочел ей короткую нотацию, вылившуюся, как всегда, в частичное признание

собственной вины, затем отправились на водохранилище. Купальника с лифчиком у Нинки не было, по дороге начали торговаться: она доказывала, что ей неприлично купаться в одних трусиках, а Вагин говорил, что под майкой скрывать совершенно нечего, и после купания в мокрой майке можно простыть на ветру. На берегу она села, надувшись, в стороне, но он твердо стоял на своем: снимай, иначе в воду не пойдешь. В конце концов, Нинка зарыдала, однако соблазн был велик, соседские мальчишки плескались прямо напротив, звали ее к себе. Рыдая, она стянула майку и, согнувшись в три погибели, пряча от нескромных мужских взглядов еле заметные, без малейшей припухлости пятнышки сосков, юркнула в воду, где тут же забыла о необходимости их прятать, стала прыгать и возиться с мальчишками. Вагин выбрал местечко почище, расстелил полотенце, разделся и лег. Отсюда хорошо виден был стоявший над самым обрывом дом Каминского, довольно несуразное строение с несимметрично посаженным мезонином, на крыше которого, как капитанский мостик, торчала обнесенная перильцами смотровая площадка. Еще выше поднимался шест с маленьким флюгером.

## 2

Каминский был поэт-футурист, фигурировал в столицах, летал на аэроплане, скандалил, красил волосы в зеленый цвет, демонстрируя близость к лесной славянской стихии, но после революции звезда его как-то померкла. Он вернулся на родину, в губернский центр, стихов почти не писал, а еще через несколько лет построил этот дом и переселился в Черновское, лишь изредка наезжая в город. Остальное время ходил с ружьишком, рыбачил, что-то сеял в необъятном своем огороде, завел ульи. Легенды о нем долго волновали областную интеллигенцию. В его добровольном отшельничестве видели пассивный, усиленный вызов режиму, и на пятом курсе научный руководитель, доверяя Вагину, веря, что он все поймет и, поняв, сумеет расставить смягчающие акценты, предложил ему выбрать темой диплома ненапечатанную драматическую поэму Каминского "Ермак Тимофеевич". Поэма относилась к последнему, трагическому периоду его творчества, после которого он уединился в Черновском и замолчал уже навсегда. По тем временам тема была на грани, если не за гранью, но к работам на местном материале идеологические требования предъявлялись не в полном объеме. Считалось, что сам материал исключает возможность широких обобщений. Кроме того, региональный патриотизм



поощрялся; под этим углом на кое-какие вещи смотрели сквозь пальцы, о чем научный руководитель знал и постарался объяснить Вагину, чтобы тот почувствовал внутреннюю свободу. Иными словами, писать можно было почти правду. Все уже понимали, что Каминский для области слишком крупная фигура, и если нельзя напечатать все им написанное, то нельзя и замалчивать его двадцатилетнее предсмертное молчание, наступившее после завершения работы над поэмой "Ермак Тимофеевич". Следовательно, без ее анализа трудно было осмыслить и дальнейшее.

Поэма, вернее, драма в стихах, при жизни Каминского не прошла цензурные рогатки и сохранилась в его архиве. Тогда еще архивом владела вдова, бывшая актриса. Она пыталась продать его в какое-нибудь государственное учреждение, но покупать никто не хотел, а отдавать бесплатно ей было жалко, хотя причиной выставлялась тревога за наследие мужа: мол, то, что достается даром, люди не ценят. Это была кокетливая усатая старуха с синими бородавками, наводившими на крамольную мысль, что поэт сбежал в Черновское не только из-за ненависти к режиму. Два месяца Вагин ходил к ней с цветами, слушал ее рассказы, изучал текст рукописи, черновые варианты и переписку с современниками, состоявшую, главным образом, из поздравительных открыток. В итоге удалось реконструировать приблизительно следующее.

После переезда из Москвы жена Каминского поступила в труппу местного театра и здесь, освоившись, подала идею заказать ее мужу поэтическую драму о Ермаке, который издавна входил в пантеон областных героев: отсюда он и двинулся на завоевание Сибири. Режиссер загорелся, Каминский дал согласие. Поначалу, правда, он ленился, но получив аванс и потратив его на постройку дома, проникся темой и засел за работу. Жена точила его, чтобы писал скорее. Ролями ее не баловали, а в пьесе собственного мужа она имела право рассчитывать на главную женскую роль. Ей предстояло воплотить на сцене образ девушки-холопки Дуняши, которая бежит от помещика и, переодевшись в казацкое платье, выдавая себя за мужчину, с отрядом Ермака отправляется в Сибирь. Начал Каминский бодро, но вскоре застопорился. Ермак был им задуман как бунтарь, как олицетворение поэтической вольнолюбивой народной души, как второе "я" самого Каминского, любившего петь под гармонь срамные частушки, однако тот же Ермак являлся проводником колониальной политики царского правительства, завоевывал для московского торгово-промышленного капитала новые рынки сбыта. Перед этим парадоксом Каминский останавливался в растерянности. Мысль его замирала, он срывался в Чер-

новское удить рыбу; там его отлавливала жена, привозила в город и усаживала за письменный стол. Но и тут, не в силах ничего придумать, он постоянно отвлекался, писал стихи то про Стеньку Разина ("Над Москвой-рекою, как перо — вран, буйную головушку обронил Степан..."), то про Пугачева ("За Москвой-рекою, как перо — вран, буйную головушку сронил Емельян..."). Всё и вся примиряющий сюжетный поворот найден был неожиданно. Под нажимом жены, не желавшей на протяжении всего спектакля ходить в зипуне и кольчуге, Дуняша сняла мужское платье не в финале, как намечалось ранее, а под конец второго акта. Едва этот сын полка, этот бравый юнга с головного струга, сыпавший прибаутками под стрелами врага, явился перед Ермаком в сарафане и кокошнике, дальше все пошло как по маслу. Хотя роман Ермака и Дуняши лежал у истоков замысла и предполагался, естественно, с самого начала работы, развязка их отношений, недавно еще неясная, тонущая в глубинах магического кристалла, теперь выплыла сама собой. Каминский набросал план, похожий на балетное либретто, затем потекли ямбы, рифмы, цезуры. Заключительный акт написан был стремительно: Кучум разбит, казаки празднуют победу, Ермак признается Дуняше в любви. Она, тоже любя его, предлагает ему повернуть штыки вспять, превратить империалистическую войну в гражданскую, но скованный сословными предассудками атаман отказывается, тогда Дуняша вместе с Иваном Кольцо, разделяющим ее убеждения, и лучшей частью отряда уходит от него. Ермак понимает свою ошибку слишком поздно. Любовь потеряна, в Сибири ширится национально-освободительное движение татар, остяков и вогулов в союзе с передовыми русскими зверобоями. Оказавшись меж двух станов, он бросается в Иртыш и тонет.

Драма была готова, начались репетиции, как вдруг выяснилось, что трактовка, предложенная Каминским, устарела. В газетах уже ругали Демьяна Бедного за его "Богатырей", режиссер требовал коренной переделки. Жена закатывала Каминскому истерики, потому что, как Вагин понял из случайно оброненной и неловко замятой фразы, ее шантажировал любовник, актер того же театра, которому она через мужа составила протекцию на роль Ивана Кольцо. Ермак нес в себе частицу мятущейся души Каминского, а Иван Кольцо был рупором его мыслей, наиболее положительным из всех персонажей драмы. Именно за такие роли давали ордена, звания и квартиры. Этот актер, видимо, грозил все рассказать Каминскому, если жена не заставит его взяться за переделку. Она была в отчаянии. В промежутках между скандалами она делала для мужа выписки из науч-

ной литературы, раздобыла где-то "Строгановскую летопись" и переката-ла оттуда двухстраничную речь Ермака к дружине перед боем при Каш-лыке, но Каминский не желал поливать живой водой воображения со-бранные ею мертвые факты. Он пребывал в депрессии, пил, играл на гар-мошке, неделями пропадал в Черновском. Дом, однако, нужно было до-страивать. Когда кончились деньги, он опять проникся новым, духовно гораздо более близким ему, чем прежний, подходом к теме. Параллельно с возведением мезонина, где должен был разместиться рабочий кабинет хозяина, Дуняша пересмотрела свои позиции и поняла, что нельзя прене-брегать внешней опасностью. Невесть откуда взялись ливонские немцы, помогающие Кучуму с артиллерией, появилось множество изменников. По ночам, произнося саморазоблачительные монологи, они сверлили дырки в стругах, рисовали и переправляли в Стамбул чертежи государе-вых земель, посыпали ядом из флакончиков казацкую трапезу. К Дуняше стали подкатываться агенты султана, соблазняя шитой жемчугом каше-мировой шалью, чтобы во сне зарезала возлюбленного. Этот вариант в теат-ре был одобрен, режиссер очень его хвалил, но от постановки на всякий случай решил увильнуть, не зная, куда еще заворотит в ближайшее время. Вот тогда-то Каминский с концами перебрался в Черновское и прожил там почти безвыездно до самой смерти. Гости из города у него бывали ред-ко, жена — еще реже. Когда она внушала ему, что неплохо бы что-нибудь написать, напечатать и получить гонорар, он отвечал ей: "Рука бойца ко-лоть устала". Цитата, судя по неприятной ухмылке, промелькнувшей на лице вдовы, в то время как она дважды, с разной интонацией повторила ее Вагину, относилась не только к руке и не только к литературе.

### 3

На обратном пути от водохранилища Вагин отпустил Нинку домой одну, а сам решил зайти в дом Каминского. Внутри он еще ни разу не бы-вал, все как-то откладывал до следующего приезда, чтобы осмотреть спо-койно, не торопясь.

Нинка ускакала, помахивая полотенцем. Он прошел по краю обрыва, обогнул забор и остановился перед необыкновенно мощными и высоки-ми, едва ли не выше самого дома, деревянными воротами. Навершья стол-бов были вырезаны в виде плосколицых валькирий с зелеными русало-чьими волосами, створки разрисованы подсолнухами. Их яркие желтые лепестки контрастировали с мрачно-черными гнездилищами семечек,

стебли переплетались, как лианы в джунглях. Вагин знал, что и цветы, и суровые девы на столбах, все нарисовано и высечено рукой самого Каминского, их лишь подновили и подкрасили при ремонте.

Он постоял перед воротами, воздвигнутыми явно не для того, чтобы через них проходить во двор, и вошел через калитку. Возле нее висела на заборе табличка с расписанием: указаны были дни и часы, когда музей открыт для посещения. Как раз было открыто, но посетителей Вагин не заметил. Вокруг царила могильная тишина. Он двинулся вдоль дома, ориентируясь по прибитой к тополию жестяной стрелке.

С крыши между окнами спускались изъеденные ржавчиной водостоки с драконьими мордами внизу. Один из драконов сохранил в щербатом зеве обломок языка. В дождь они выплевывали воду, затем по желобу из распиленных надвое и выдолбленных бревен она катилась под уклон, вливаясь в огромную, по края врытую в землю бочку. Оттуда, вероятно, Каминский черпал ее ведрами и поливал огород. Многодневный тропический ливень не мог бы наполнить эту бочку доверху. Видневшиеся в конце огорода пчелиные ульи размерами напоминали домики на сваях. Одноэтажный, если не считать мезонина, с кривоватыми окнами, дом выглядел скромно, даже неказисто, но все, что его окружало, вплоть до скворечника на тополе и пустой собачьей будки, где поместился бы теленок, казалось преувеличенным, как бы раздутым, и непонятно было, главное, зачем.

Вход был бесплатный. Требовалось лишь сделать запись в книге посетителей, которую принесла Вагину полная, деревенского облика пожилая женщина. Она проживала здесь же, при музее, работая истопницей, хранительницей фондов и сторожем одновременно. Краткий комментарий к экспозиции также входил в ее обязанности. Профессиональные экскурсоводы приезжали сюда только с группами от туристического бюро. Вагин слышал, что эта женщина жила с Каминским и ухаживала за ним, когда года за три до смерти его разбил паралич.

— Простите, как вас зовут? — спросил он.

— Зинаида Ивановна, — ответила она.

Вагин раскрыл эту амбарную книгу, взял ручку, чтобы написать в одной графе свою фамилию, в другой — место работы, и расписаться в третьей, но в последний момент заколебался. Осенью он напечатал в областной газете большую, на целую полосу, статью о Каминском. Наверняка Зинаида Ивановна ее внимательно прочла, вырезала и положила на вечное хранение в соответствующую папочку, как делают во всех таких музеях. Не запомнить имя автора она не могла: так откровенно о Каминском

еще не писали. Вагин не оставил камня на камне от легенды о поэте-отшельнике, не желавшем быть с волками площадей, о его молчании как форме творческого поведения в условиях тоталитаризма. Он обошелся без флера, который так любило старшее поколение, в том числе бывший научный руководитель Вагина с его патологическим стремлением все романтизировать, чтобы подсознательно, может быть, защититься от неприкрытого ужаса жизни и оправдать свою готовность довольствоваться полуправдой. Опираясь на биографию Каминского, на дневниковые записи разговоров с его покойной женой-актрисой, на тщательный анализ его ранних стихов и нескольких вариантов драмы "Ермак Тимофеевич", Вагин нарисовал совсем иной образ поэта. В молодости — скандалист, маскирующий внутреннюю пустоту литературной эксцентрикой, эпатажем и полетами на аэроплане, в зрелости — конформист, не сумевший приспособиться к существующему режиму исключительно по причине полной бездарности, в старости — убогий пьяница, знаток и ценитель "причинного" фольклора. В Черновское он уехал, прежде всего, потому, что там, по крайней мере, мог добывать себе пропитание ружьем, удочкой, пчелами и огородными трудами. Единственным его достоинством признавалось то, что под занавес он все-таки осознал собственное ничтожество. На этой милосердной ноте статья и заканчивалась. Впрочем, по тону, по интонации она была достаточно мягкой. В ней доминировала не язвительная страсть разрушителя мифов, а легкая печаль, ирония и самоирония автора, вспоминающего свои былые иллюзии с грустью, со смехом сквозь слезы, но и с благодарностью тому, кто помимо воли преподавал ему этот урок, то есть Каминскому. Таня, прочитав статью, сказала, что теперь она понимает, какой он был чудесный, наивный, чистый мальчик.

На всякий случай, чтобы не вступать в ненужные объяснения с Зинаидой Ивановной, Вагин обозначил себя девичьей фамилией жены, неуклюже расписался и прошел в светлую, почти без мебели, просторную комнату со свежевывмытыми полами и цветами на окнах. Зинаида Ивановна шла за ним, рассказывая, где тут что стояло и лежало, пока не растащили. При жизни поэта здесь была гостиная, дальше — спальня. Там ночевала жена, когда раз в месяц, не чаще, да и то летом, навещала мужа. Сам он обычно ложился у себя в кабинете. Казалось, Зинаида Ивановна сознательно подчеркивает, что супруги спали врозь.

Вагин задержался у витрины, где под стеклом выставлены были написанные хозяином книги, затем обошел комнату по периметру, рассматривая висевшие на стенах фотографии Каминского — с родителями и младшими

сестрами, в гимназической фуражке, в летных очках, на аэродроме, на поэтическом вечере в Харькове, с Маяковским, еще с Маяковским, с Горьким, с каким-то одутловатыми мужчинами в полувоенных костюмах, с первой женой, со второй женой, с сыном от первой жены, с дочерью второй жены от первого брака, за рабочим столом, с актерами областного театра, с собакой на фоне строящегося дома в Черновском, с другой собакой, на диване с гармошкой, с ружьем и третьей собакой, в постели с книгой, на столе с подвязанной челюстью и, наконец, опять молодой, веселый, с солнцем в волосах, как бы вставший из гроба, чтобы остаться таким навсегда.

Спальню жены еще не привели в порядок, посетителей туда не водили. Вся экспозиция состояла из двух комнат — гостиной и кабинета наверху, в мезонине. Лестница находилась за дверью. Зинаида Ивановна открыла ее сразу же, как вошли в гостиную, будто спохватившись, что не сделала этого раньше. Дверь была откинута к стене и намертво закреплена специальным крюком, но Вагин успел заметить, что на ней линялым от времени маслом и, несомненно, кистью самого Каминского, в юности, как все футуристы, без конца что-то малевавшего, изображен священный лингам шиваитов с пририсованными к нему легкомысленными крылышками и надписью: "Как птичка эта, влетайте в дом поэта". Не решившись, видимо, замазать этот бледный крылатый пенис, Зинаида Ивановна тщательно берегла его от посторонних глаз. Вообще в ней чувствовалась некая угрюмость, проистекавшая, может быть, из необходимости постоянно быть настороже, отвечая на вопросы экскурсантов, постоянно что-то не договаривать. Вагин ощутил внезапный прилив симпатии к этой женщине. В сущности, теперь в целом свете только они двое и знали правду о Каминском. Жена-актриса умерла в позапрошлом году от инсульта.

Они поднялись по лестнице и вошли в кабинет. Это была большая комната с полукруглым окном, рукомойником у входа и продавленным диваном в углу. Зинаида Ивановна сказала, что на нем Каминский провел последние три года жизни. Вначале у него отнялись ноги, потом все тело.

В другом углу прозрачная лесенка наискось уходила к люку в потолке. По ней можно было подняться на смотровую площадку на крыше мезонина. Как сообщалось в проспекте для туристов, поэт, в прошлом — летчик, построил ее, чтобы быть ближе к небу, а местные жители рассказывали, что он там установил подзорную трубу на треноге и разглядывал купающихся и стирающих белье деревенских девок. В то время река текла немного в стороне. Водохранилище разлилось позднее, за несколько лет до его смерти.

Первым делом Вагин подошел к стене с книжными полками и ревниво проинспектировал корешки. Издания двадцатых годов и старые журналы вдова еще на его памяти носила букинистам, в остальном библиотека была самая заурядная — русская классика, много Маяковского, много книг областного издательства, приключения, география, пчеловодство, раскрытый на титульном листе капитальный труд "Падение крепостного права и развитие капиталистических отношений на уральских горных заводах и соляных промыслах в 60-90-х гг. XIX в." с дарственной надписью автора. На полках лежали минералы, окаменелости, стояло чучело не известной Вагину птицы. Он удивился, услышав от Зинаиды Ивановны, что это, оказывается, попугай. Его подарил Каминскому друг юности, привез из Испании, где сражался в составе Интернациональной бригады. Попугай прожил в Черновском десять лет, умер и был мумифицирован. После смерти под руками местного таксидермиста он преобразился до полной неузнаваемости. Лишь в стеклянных бусинах, заменивших ему глаза, навеки застыла тоска, с которой этот испанский попка смотрел в низкое северное небо чужбины.

На стене висело ружье, в кресле покоилась мемориальная гармошка, Протянутый между подлокотниками шнурок напоминал, что трогать ее нельзя. Ближе к окну стоял рабочий стол хозяина. Его аскетически пустынная поверхность и выцветшее, но неистертое сукно свидетельствовали, что письменным занятиям Каминский предавался не часто. На столе не было ничего, кроме стакана с карандашами, чернильного прибора из алебаstra и раскрытой общей тетради в клеточку. Разворот был исписан аккуратным, без божества, холуйским почерком Каминского. Тетрадь должна была создать впечатление, что поэт лишь ненадолго оторвался от работы и вышел в соседнюю комнату. Тсс-с, дети! Представьте, сейчас он войдет легкой походкой, прискачет на костылях, въедет на инвалидной каталке, приползет, волоча отнявшиеся ноги, чтобы взять перо и склониться над белым листом бумаги. Минута, и стихи свободно потекут: "За Москвой-рекою..."

Впрочем, написано было прозой. Зинаида Ивановна сказала, что это дневник, Каминский начал вести его в старости и вел до тех пор, пока мог удерживать в пальцах карандаш.

Вагин встревожился. Про дневник он никогда не слышал, сделалось неуютно при мысли, что вот начнет читать и поймет: есть доля истины в легенде о поэте-авиаторе, который, взлетев к звездам и приземлившись на площади, пропахшей кровью и гниющей с головы рыбой, предпочел затвориться в глуши, в обществе собак, птиц, пчел.

Он обернулся к Зинаиде Ивановне.

— Можно почитать?

Она кивнула. Вагин присел к столу, возбужденно пролистнул несколько страниц и успокоился. Чуть, календарь погоды, заметки фенолога, котят, мышата, жучки, паучки, смелые выводы типа: совсем как у нас, людей. Или: вот бы нам у них поучиться!

Оглядевшись, он заметил на подоконнике маленький колокольчик. Настроение опять испортилось. Бубенчик был тот самый, рыбацкий. Про такие директор интерната говорил, что не помогают.

— Это что? — спросил Вагин. — Зачем?

Зинаида Ивановна объяснила, что Каминский, будучи уже прикован к постели, попросил ее повесить этот колокольчик на тополе за окном кабинета. Зимой, когда окна закрыты, да и летом тоже, по его звону он узнавал, какая погода на дворе, ветрено ли, как сильно и откуда дует. Если с севера, то дом загораживает, звенит слабее. С востока — сильнее. Вообще летом — сильнее, потому что ветка с листьями, парусит. Как-то он всё научился различать, однажды зовет ее: "Зина!". Сам улыбается. "Слышишь, — говорит, — как странно звякает? Птица, наверное, на ветку села, взгляни-ка". Посмотрела, и точно — синичка. А в другой раз кричит: "Зина! Зина!". Она прибежала, он весь в поту, плачет: "Зина! Не слышу!". Оказывается, нитка перетерлась, колокольчик упал, а ему почудилось, что оглох, ничего не слышит.

За окном дул ветер, сквозящие в листьях солнечные блики дрожали на обоях, на акварельном портрете второй жены Каминского в костюме Дуняши.

— Он сильно ее любил, — сказала Зинаида Ивановна. — Она была талантливой актриса, красавица.

В ее голосе звучала сталь преодоленных сомнений, эхо давно угасшей ненависти. Вагин вспомнил, что о мужчине нужно судить по женщине, которая его любит. Со стены смотрела другая женщина. Нежное лицо с чуть заметными усиками, никаких бородавок. Волнистые темные волосы текут из-под шлема. Подруга Ивана Кольцо в сияющей кольчуге, с ним она и уходит на запад, где нет ни гармошек, ни частушек, а Ермак строит дом, берет удочку и садится на диком берегу водохранилища. В тишине под сенью березовых перелесков быстрее рубцуются раны. Уже идут репетиции, печатаются афиши. Неожиданно первый вариант отвергнут. Режиссер требует переделки, беглецы трубят в рог, взывая о помощи. Что там гремит рано пред зарею? Атаман заворачивает полки, сжимает перо, чтобы,



все прошив, помочь попавшим в беду любовникам. Но кругом измена, испорчен компас, идут ко дну струги с верными товарищами. Воеет, припадая щекой к абразивному кругу, турецкий кинжал. Дуняша накидывает на плечи шитую жемчугом кашемировую шаль. Ермака больше нет, все кончено, занавес. Вот о чем он писал! Эзопов язык уязвленного сердца, бедная тайнопись эпохи. Кто мы? Где мы? Куда бредем с мокрыми матрасами под барабанную дробь, в тумане? Чу! Прокричал испанский попугай, колокольчик звенит за метелью.

Внизу ослепительно блестело водохранилище, кричали чайки. Зинаида Ивановна указала на реденькую цепочку лодок, причудливо изогнувшуюся на воде примерно в трех сотнях метров от берега.

— Видите, рыбаки по старому руслу сидят. Тридцать лет как плотину построили, а настоящая рыба все там, на старом русле. Вроде ей теперь свобода, рыбе-то, жизненное пространство. Плыви, все горизонты открыты, но почему-то не плывет. Он этим фактом очень интересовался.

— Каминский?

— Да. Перед самой смертью и то спрашивал, где рыбаки сидят. Я говорю: "Там же, там же!". А он мне: "Что рыба, что человек".

Вагин снова придвинул к себе дневник, раскрыв его на последней странице. Здесь в две карандашных строки, выморочным расплзающимся почерком написано было:

Колокольчик дин-дин-дин.

Слышу, духи понеслись...

Вагин поднялся из-за стола. Щеки горели. Он поблагодарил Зинаиду Ивановну, стараясь не встречаться с ней взглядом, и пошел к выходу. Ком стоял в горле. Две валькирии с зелеными волосами — жена и Зинаида Ивановна, брезгливо смотрели ему вслед. За спиной заливался колокольчик, звенел на ветру, отшумевшем тридцать лет назад, качался на тогда же сломанной ветке, под тенью синицы, спевшей свою жалкую песенку и замолчавшей, когда настала пора выводить птенцов. Не так ли и мы, люди?

Теща в палисаднике поливала цветы, сосед, проспавшись, заботливо отпиливал засохший сук на той самой черемухе, которую не далее как утром собирался извести под корень. Возле него копошилась Нинка, наполняла опилками кукольную посуду, чтобы варить из них суп для своих бесчисленных детей. До вечера Вагин, не разгибая спины, трудился в огороде, а за ужином теща вдруг сказала безразличным тоном:

— Почему бы вам не приехать сюда вдвоем?

Имелась в виду жена.

Это засело в нем, как пороховой заряд, но взорвался он позднее и совершенно по другому поводу — не то из-за узбекской мафии, не то из-за выгребной ямы, которую, как внезапно выяснилось, ему предстояло вырыть в следующий приезд. Вагин тут же решил ехать в город не завтра, а сегодня, быстренько собрался, поцеловал Нинку, на этот раз великодушно сохранившую нейтралитет, что было редкостью при его ссорах с тещей, и побежал к автобусной остановке.

Последний автобус отправлялся в десять вечера, но запаздывал. Вагин немного спустился по прибрежному откосу, закурил, настраиваясь подумать о Тане и заранее чувствуя, что сейчас не получится. Июнь, ночи светлые. Безмолвная чаша водохранилища лежала внизу. На том берегу тоже были деревни, доносило по неподвижной воде лай собак, и где-то в низовьях высоко стучала моторка.

В стороне слышались негромкие детские голоса. На скамейке, одним концом врезанной в ствол громадной плакучей березы, сидели двое: мальчик и девочка с пятнами зеленки на лице. Вагин узнал ее сразу. Он подошел ближе, прячась за кустами. Они его не замечали. Мальчик рассказывал одну из тех историй, какие Нинке строжайше запрещено было слушать. Повествовалось о том, как сумасшедший ученый в подземном бункере изобрел красную машину, механического монстра — похитителя детей, чьи родители работали в ночную смену. Машина привозила детей к нему в подземелье, там он брал из них кровь и откармливал ею крыс. Ученый хотел откормить миллион крыс, а затем выпустить в город, чтобы они всех позаражали какой-то холерой, но милиционеры ему помешали.

Мальчик замолчал, девочка спросила про участь тех мальчика и девочки, брата и сестры, с похищения которых, видимо, и начиналась история. Вагин понял, что эта девочка мечтает быть младшей сестрой этого мальчика. Она спрашивала про него и про себя: где мы? Живы ли? Сжалившись, рассказчик ответил, что в самой дальней комнате милиционеры нашли их полумертвыми от потери крови, но живыми.

Дождавшись счастливой развязки, Вагин хотел уйти, но мальчик услышал и посмотрел в его сторону. Девочка спросила:

— Кто там?

— Да этот, лысый. Утром-то базлал.

— А, зассанец, — вспомнила она и засмеялась.

Автобус уже подруливал к остановке. Через пять минут фонарь над ней шатнулся и вскоре пропал за гребнем бегущего вниз по угору вспаханного поля, отодвинулось водохранилище, повеяло трупным запахом пти-

цефабрики. Затем дорогу обступил лес, и сразу болезненно ощутился уют освещенного салона. Вагин покачивался на исполосованном ножами сидении, почти физически ощущая, как сжимается отведенное ему пространство жизни. А еще совсем недавно бывали с Таней такие дни, что, казалось, вот сейчас вздохнешь, и душа, чудесно расширившись в этом бесконечном вздохе, заполнит весь мир, как цыпленок, вырастая, заполняет собой яйцо.

На следующее утро, когда жена ушла на работу, а он завтракал один в пустой квартире, зазвонил телефон. Вагин подтянул шнур, поставил аппарат на стол и услышал в трубке быстрый голос Тани.

— Если рядом кто-то есть, — произнесла она заранее, видимо, приготовленную и отрепетированную фразу, — и ты сейчас не можешь со мной говорить, скажи: вы не туда попали.

— Вы не туда попали, — сказал Вагин и положил трубку.

Москва

